

Последние Звездочёты

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Последние Звездочеты

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Последние Звездочеты / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Ночная смена в степной обсерватории — и на экране интерферометра ровная линия там, где должно быть эхо. Астроном Анна ловит невозможное: звёзды исчезают без следа, как будто из вселенной аккуратно вынимают экспонаты, начиная с дальней полки. По небу катится невидимый фронт, у которого есть расписание, а внизу — одиннадцатилетняя дочь, чьё имя носит одна из ближних звёзд. Пока мир делится на тех, кто хочет сопротивляться, и тех, кто зовёт любоваться концом, Анна разбирает сигнал, стирающий вселенную, — и узнаёт в нём голос, который её заставит наконец подойти близко.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Переменная	6
Часть вторая. Холодные пятна	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Последние Звездочеты

Это запись. Её запускали столько раз, что и не сосчитать. Голоса в ней собраны отовсюду — чужие, из разных лет, — но история одна, и её слушают снова и снова там, где слушать больше нечего. Она начинается ночью, на краю степи, с женщины, которая ещё не знает, что однажды сама окажется среди этих голосов.

Часть первая. Переменная

Ночные смены Анна брала сама. Их не любили — двенадцать часов одиночества в степи, где до ближайшего человека сорок минут по прямой, — и начальство было радо, что кто-то избавляет график от этой дыры. Никто не спрашивал зачем. Правильный ответ Анна не сказала бы вслух: дома, в эти же двенадцать часов, дочь спала, и не приходилось выбирать между дочерью и собой — темнота выбирала за неё.

В три часа ночи экран телефона был единственным тёплым пятном в пультовой.

— Она стала тусклее, — сказала Мира.

Одиннадцать лет, и голос ещё не решил, спать ему или бодрствовать. За её плечом — угол детской, распечатанная карта северного неба, приклеенная к обоям синим скотчем. Два года назад Анна принесла эту карту домой и пообещала, что они разметят её вместе, фломастером, звезда за звездой, по одной за каждую их ночь. Ночей было мало. Карта так и висела почти чистой — три отметки в углу и большое пустое поле, как обещание, которое стыдно снять со стены.

Звёздными ночами это называла Мира, не Анна. Уговор был простой: когда Анна дома, они выходят, находят на небе звезду Мира и «отмечаются» у неё — есть ли, как светит. Уговор держался на том, что Анна бывала дома. Постепенно он переехал в телефон, как переезжает в телефон всё, чему не оставили места в жизни.

Анна знала за собой этот дар — превращать близкое в дальнее. Мужа, который не выдержал жизни при женщине, глядящей больше в небо, чем на него, и ушёл так тихо, что Анна спохватилась не сразу. Друзей, осевших в списках контактов. Собственную мать, которую помнила плохо и всё собиралась вспомнить получше, да так и не собралась. Она умела любить на расстоянии — это была её единственная безопасная дистанция, с которой ничто живое не могло подобраться слишком близко и сделать больно. Дочь она держала на той же дистанции, оправдываясь тем, что дарит ей взамен целое небо. Небо не требовало присутствия.

— Переменные звёзды на то и переменные. — Анна говорила вполборота; второй экран, большой, тянул её взгляд к себе. По чёрному полю полз зелёный след интерферометра — ровное дыхание спящего прибора. — То ярче, то тусклее. Твою так и называли. Мира. По-латыни — «удивительная». Четыреста лет назад её заметил один голландец: звезда, которая появляется и пропадает. Ему показалось — чудо.

— Значит, она всё-таки пропадает.

— Значит, она живая. — Монета скользнула из руки легко, отработанно; так отводят ребёнка от края платформы. — Тусклее — ещё не мёртвая. Пока звезда меняется, она живая. Мёртвые не мерцают. Они просто стоят.

В наушнике — тишина, в которой одиннадцатилетний человек взвешивает, верить или нет.

— Ты придёшь? Не по телефону.

Вопрос, к которому Анна была готова и от которого всё равно свело живот.

— Завтра. — Она услышала себя и поправилась, будто точность что-то меняла: — Сегодня уже. Приду, отосплюсь, и вечером поднимемся на крышу, и я покажу тебе твою звезду по-настоящему. В телескоп, не на карте.

— Ты говорила про телескоп на день рождения.

— Мира.

— И на каникулах. — Без обиды, ровно; хуже, чем с обидой. Так зачитывают список, сверяясь. — Я не ругаюсь. Я просто помню.

Зелёная линия дёрнулась.

Не так, как дёргается от грузовика на трассе, от микросейсмики, от дальнего шторма, — Анна знала все эти почерки наизусть, они жили у неё под кожей. Линия пошла вверх — чисто, круто, будто где-то бесконечно далеко что-то огромное сделало один-единственный вдох, — и на вершине оборвалась.

Не затихла. Не откачнулась к нулю, дрожа, как затихает всякая волна в этой вселенной. Оборвалась. Стала прямой. Идеально ровной горизонтальной чертой, словно кто-то приложил линейку к дыханию прибора и сказал: хватит.

— Мам?

— Мне надо работать. — Слова вышли раньше мысли; палец уже вызывал на монитор сырой поток. — Завтра, слышишь? Обещаю. Твою звезду, по-настоящему.

Она нажала отбой прежде, чем лицо дочери успело собраться в то выражение, которое Анна знала и не умела выносить. Тёплое пятно погасло. Пультовая осталась синей и очень тихой — если не считать серверов за стеной, чей ровный гул был здесь вместо ветра.

На большом экране прямая всё длилась. Пятнадцать секунд. Двадцать.

Ни одна волна во вселенной не кончается прямой.

К четырём часам она исключила всё, что умела исключать.

Грузовик оставлял размазанный низкочастотный ком — не это. Микросейсмика горы под станцией писалась дрожью со своим, знакомым до скуки почерком — не это. Разъюстировка зеркал, сбой лазера, просадка в сети, севшая на кожу птица, дальний шторм на другом полушарии, чьи волны докатывались до зеркал сутками, — Анна перебрала их по одному, как перебирают в темноте связку ключей, и ни один не подошёл к замку.

Сигнал был настоящий. Хуже того — он был чистый.

Она развернула его во всю ширину экрана. Всякое гравитационное событие, какое она видела за девять лет, имело одну и ту же честную форму: нарастание, пик, а потом затухание — звон, с каким всякая масса во вселенной откачивается обратно к покою. Слияние двух чёрных дыр звенело, как отпущенный колокол: у-у-ум, всё тише, всё реже, пока не растворится в шуме. Так устроено. Так всегда. У каждого конца есть эхо — это почти закон, это то, на чём стоит её ремесло: слушать, как вещи, исчезая, договаривают себя.

Этот не звенел.

Он поднялся — гладко, чужеродно гладко — и на вершине его отрезали. Дальше шла прямая. Не покой, к которому приходят дрожь. Не тишина после звука. Плоскость. Пространство в той точке не откачнулось назад — оно перестало. Как будто вычли не звезду, а само правило, по которому у всякого конца есть эхо.

Анна поймала себя на том, что стоит. Когда успела встать, она не помнила. Ладони были холодные, и она сжала их, чтобы согреть, и не согрела.

Вторая станция, за две тысячи километров, писала ту же секунду независимо. Анна свела записи — руки делали работу сами, пока голова отставала. Совпало. Значит, не прибор, не она, не сбой одной железки в одной степи. Значит, там, снаружи, в настоящем небе, что-то произошло на самом деле. Совпадение по времени дало разность хода, разность хода — направление. Она бросила пеленг на карту неба и смотрела, как программа сужает эллипс, сужает, роняет крестик.

В крестик попадала звезда.

Не яркая, не знаменитая — из тех, что существуют только номером в каталоге, которые никто не называет по имени, потому что имени у них нет. Анна открыла обзор в оптике и не увидела ничего определённого: то ли слабая точка на пределе разрешения, то ли уже нет. На таком расстоянии глаз бесполезен; звёзды и без всякой катастрофы то тлеют, то гаснут

для наблюдателя, мигают сквозь атмосферу, врут. Свет — плохой свидетель. Он идёт к нам столетиями и рассказывает о том, чего, может, давно уже нет.

А тяжесть не врёт. Тяжести этой звезды в мире больше не было. Прямая на экране означала не «звезда потускнела». Прямая означала: звезды нет, и там, где она стояла, пространство теперь ровное, как стол.

Что-то поднялось в горле — ещё не мысль, а её тень. Эту форму она уже видела. Не на приборе. На доске, мелом, в другой жизни.

Анна отогнала это. Четыре утра — плохой час для памяти.

Она сохранила запись в трёх местах, потому что руки, лишённые мысли, всегда делают одно: страхуют. Потом выключила большой экран, и прямая исчезла вместе с ним, и на секунду стало легче — так закрывают дверь в комнату, где кто-то лежит.

Прежде чем уйти, она сделала ещё одно — то, чего делать не хотела. Открыла журнал автоклассификатора, ту его свалку, куда система месяцами ссыпает всё, что сочла мусором: наводки, срывы, «неопознанные короткие транзиенты низкой значимости», которые никто никогда не открывает, потому что низкая значимость — это официальное разрешение не смотреть. Отфильтровала по форме. По той самой прямой на срезе.

Машина показала сразу и услужливо: этот сигнал не первый. Дважды за последние недели она уже ловила ровно такой обрыв, вешала ярлык «артефакт» и прятала с глаз. Никто не возразил. Возразить было некому — Анна сама учила эту систему, что честная волна обязана звенеть, и система послушно выбрасывала в сор всё, что посмело замолчать.

Два молчания, помеченных как мусор. Кто-то снимал звёзды у них над головой уже недели, а приборы, выученные людьми по образу и подобию людей, отворачивались и называли это шумом.

Она сидела одна в стеклянной коробке пультовой, посреди степи, где на сто километров кругом не было ни единого бодрствующего человека, и держала в руках знание, которое пока весило ровно столько, сколько весит одна невыспавшаяся женщина в четыре утра. Скоро оно станет весить больше. Пока — только это: три обрыва вместо одного, форма, которую нельзя списать, и старый, набивший оскомину закон ремесла, вывернутый наизнанку. Всё, что уходит достойно, — звенит. То, что уходит молча, — уносят.

За окном степь уже отделялась от неба тонкой серой полосой. Скоро рассвет. Она обещала крышу и телескоп. Она обещала это на день рождения и на каникулах.

Вера уходила, когда Анна вернулась, — накидывала пальто в прихожей, тихая, как все люди, привыкшие к чужим квартирам на рассвете.

— Спала хорошо, — сказала соседка, отвечая на невысказанное. — Проснулась в три, поговорила с тобой и уснула. — Пауза, в которой не было упрёка, отчего та стала только тяжелее. — Она ждала, что ты приедешь. Не сегодня. Вообще.

— Знаю.

— Я не про это. — Вера застегнула верхнюю пуговицу. — Она не капризничала. Она к полчетвёртому просто перестала ждать и уснула. Дети, когда перестают ждать, делают это тихо. Это хуже, чем когда плачут. Плач — это ещё надежда, Анна. Тишина — это когда научились.

Дверь закрылась мягко. Анна постояла в прихожей, не снимая куртку, в которой ещё держался холод пультовой.

В детской Мира спала поверх одеяла, в позе человека, уснувшего против собственной воли: одна рука свесилась, на тыльной стороне ладони синим фломастером — три точки и линия, начатый и брошенный ковшик. На стене висела почти чистая карта с тремя отметками в углу. Анна укрыла дочь, и та, не просыпаясь, отвернулась к стене — движение слишком точное, чтобы быть случайным.

Один раз всё было иначе. Два года назад, когда карту только принесли, они всё-таки вышли — по-настоящему, не по телефону. Анна взяла отгул, редкий, как снег в июле, и они забрались на крышу дома с термосом и старым отцовским биноклем, и Мира, тогда ещё девятилетняя, нашла свою звезду сама, без подсказки, и завизжала так, что во дворе залаяли собаки. Они просидели до озноба, и Анна показывала, где что, а Мира записывала в тетрадку кривым почерком, и это была лучшая ночь, какую Анна умела вспомнить, — и единственная. Потом снова была работа, и опять работа, и «завтра», и «на каникулах», и карта осталась висеть с тремя отметками того единственного вечера. Три звезды. Всё, что Анна успела дать дочери с близкого расстояния, — три точки синим фломастером и обещание, растянувшееся на два года.

На кухне Анна налила себе воды и не выпила.

Мелом, на доске. Пятнадцать лет назад. Маленький зал на минус первом этаже, где всегда пахло пылью с проектора. Женщина у доски рисует кривую — нарастание, пик — и вместо затухания ведёт мел по прямой, ровно, до края доски, и оборачивается к залу. «Вот чего не может быть, — говорит она. — И вот что я вижу седьмой раз за год. Я не прошу мне поверить. Я прошу посмотреть». Нина Сорокина, сорока с небольшим лет, прямая, как её линия. А в третьем ряду — Анна, двадцать шесть, аспирантка с грантом, будущим и осторожностью, у которой уже готов вопрос — не к докладу, а против него. Тихий, вежливый, убийственный вопрос про артефакты калибровки, про то, как легко принять сбой обработки за край света. Она задала его. Хороший вопрос, точный, из тех, что не убивают сразу, но подрезают жилу. Зал выдохнул с облегчением — им дали разрешение не пугаться. Кто-то из старших подхватил, и дальше уже покатилося само.

К концу года у Сорокиной не осталось ни финансирования, ни кафедры, ни имени, которое можно было бы произнести на конференции без усмешки. А у Анны появилась её ставка. Не отняла — так легло. Но легло на неё, и все пятнадцать лет лежало ровно, как та прямая линия, не звеня, не отпуская.

Она вылила воду в раковину. За окном вставало солнце — обыкновенное, жёлтое, единственное, поднималось над крышами, как поднималось всегда, ничего не зная о прямой линии в трёх тысячах световых лет отсюда. Смотреть на него было почему-то трудно.

Анна открыла ноутбук. В архиве института, в самом дальнем его углу, куда данные сваливают, чтобы не удалять и не смотреть, лежали закрытые массивы пятнадцатилетней давности. Она набрала в поиске одно слово — фамилию — и держала палец над клавишей дольше, чем нужно человеку, который просто ищет старый файл.

Потом нажала.

Часть вторая. Холодные пятна

За девять дней их стало семь.

Анна разложила события по карте неба, и карта перестала быть случайной. Семь прямых, семь точек, где тяжесть кончилась, — и они не сыпались наугад, как сыплется всё настоящее. Они шли. От дальних к ближним, аккуратной поступью, будто кто-то очень методичный обходил витрину и снимал экспонаты по одному, начиная с верхней, дальней полки. В этом порядке было самое страшное — не в самих исчезновениях, а в том, что у них была очередь.

Она приходила на дневные смены с чужими глазами — невыспавшимися, чужими самой себе, — и пока прибор писал будни, считала не будни. Сводила старую тетрадь Сорокиной с новыми записями. Метод был грубоват, ему было пятнадцать лет, но он работал: он умел отличать обрыв от всего, что просто на обрыв похоже.

— Это прибор, — сказал Дёмин.

Он стоял у неё за спиной, скрестив руки, и смотрел на карту так, как смотрят на чужую истерику — вежливо пережидая. Заведующий группой, человек, чья главная работа за последние годы свелась к тому, чтобы ничего не случилось; и до сих пор она удавалась ему блестяще.

— Два прибора, — сказала Анна. — За две тысячи километров. Одновременно. С одинаковой сигнатурой. Семь раз за девять дней.

— Значит, общий источник помехи. Спутник. Наводка. Что-то земное. — Он повёл рукой, отгоняя. — Анна, ты знаешь, что бывает, когда группа объявляет «новый физический эффект», а потом оказывается кабель? Я знаю. Я это видел вот этими глазами. — Короткая пауза, за которой встало имя, которое он не назвал, но которое встало между ними, как встаёт покойник. — Мы не будем позориться на семи точках и странной форме.

— Форма не странная. — Анна открыла одну запись во весь экран. Нарастание, пик, прямая. — Она невозможная. Странное — это то, чего мы пока не поняли. А невозможное мы понимаем слишком хорошо. Всё, что имеет массу, исчезая, звенит. Это не звенит. Значит, оно исчезает не так, как во вселенной позволено исчезать. И кто-то это позволение имеет.

У окна Юлия оторвалась от своего экрана. Аспирантка, третий год, быстрые глаза, привычка проговаривать вслух то, о чём другие молчат из приличия.

— А красиво же, — сказала она негромко, разглядывая карту. — Нет, вы посмотрите. Идеальная чернота. Ни линзирования, ни оболочки, ни остатка — ничего. Мы привыкли, что смерть звезды — это грязь: вспышка, ударная волна, туманность на память, которую потом полвека фотографируют. А тут просто ровное место. Чисто. Как будто прибрались. — Она поймала взгляд Анны и чуть смутилась, но не отступила. — Я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что это красиво. Это ведь разные вещи, да?

— Это разные вещи, — согласилась Анна. И запомнила, как легко девочка сказала «смерть звезды», будто пробуя слово на язык и находя его сладковатым. Запомнила, потому что уже тогда, кажется, знала: когда станет страшно по-настоящему, кто-то обязательно скажет, что это красиво, — и за этим словом пойдут.

Дёмин уже шёл к двери.

— Перепроверьте калибровку. Обе станции, полный цикл. — И, не оборачиваясь, тише: — И не выноси это никуда, Анна. Пока я не увижу кабель — или пока ты не докажешь мне так, что я не смогу возразить, что кабеля нет. По-хорошему прошу. Ради тебя же.

Дверь закрылась. Анна осталась перед картой с семью чёрными точками, выстроенными в очередь, и с восьмой, которую она уже могла бы указать пальцем, если бы кто-нибудь спросил, где ждать.

Никто не спросил. Она давно заметила: страшное входит в мир не с грохотом, а вот так — через пустой кабинет, где один человек видит узор, а остальные видят время обеда и просят не позориться.

Мира ела кашу и рисовала на полях учебника — созвездие, которого нет: собственное, из шести звёзд, соединённых в фигуру, похожую на бегущего человека.

— Ты опять не спала, — сказала она, не поднимая глаз. — Я слышу. Ты встаёшь и уходишь на кухню к ноутбуку, и он подсвечивает тебе лицо снизу. Ты становишься страшная. Как из фонарика под подбородком.

— Работа. Извини, что бужу.

— Про звёзды, которые пропадают?

Ложка Анны остановилась на полпути. Она не помнила, чтобы говорила дочери. Может, и не говорила; может, дети, как хорошие приборы, ловят сигнал раньше, чем взрослые решаются его передать.

— Откуда ты знаешь?

— Ты так на карту смотришь. — Мира пожалала плечом, дорисовывая бегущему шестую звезду, ступню. — Как я, когда у меня теряется что-нибудь важное и я делаю вид, что не теряется. — Она подняла глаза. — А как ты понимаешь, что она пропала? Ты же сама говорила. Твоя звезда, Мира, она то тусклее, то ярче, и это нормально, это она живая. Так откуда ты знаешь, что звезда исчезла, а не просто потускнела? Может, она тоже переменная. Может, она просто спряталась и завтра вернётся, а вы там все зря напугались.

Анна открыла рот, чтобы ответить отработанное, — и не ответила.

Потому что дочь, сама того не зная, наступила ровно на то место, где Анна девять дней ходила кругами и не решалась встать. Всё это время часть её пыталась подтвердить исчезновения глазами. Смотреть в оптику. Искать, где именно погас свет. А свет — плохой свидетель; звезда тускнеет и не умирая, звезда мигает, врёт, прячется за пылью и за собственным непостоянством. По одному только свету никогда не отличишь потускневшую от исчезнувшей — особенно переменную, которая всю жизнь только и делает, что притворяется то живой, то мёртвой.

Но тяжесть не тускнеет. Тяжесть либо есть, либо её нет. Переменная звезда меняет блеск — и держит свою массу, свою хватку за пространство, свой ровный гравитационный голос, которым говорит: я здесь, я здесь, я здесь. А эти замолкали. Не гасли — гаснуть можно понарошку. Замолкали по-настоящему. Искать надо было не там, где пропал свет. Искать надо там, где разжалась хватка, — и тогда никакой мигающий обман уже не сойдёт.

— Мам? — Мира смотрела на неё с тем осторожным выражением, с каким смотрят, когда сказали, кажется, что-то не то. — Я глупость сморозила?

— Нет. — Анна отложила ложку. Впервые за девять дней — а может, и дольше, много дольше — она смотрела на дочь так, как смотрела бы на человека, который за одну секунду прошёл путь, на который у взрослого ушла неделя. — Ты сказала самую умную вещь, которую я слышала за месяц. Ты спросила, как отличить исчезновение от того, что просто на него похоже. Взрослые об этом забывают. Взрослые верят глазам.

Мира подумала, польщённая и настороженная разом.

— И как отличить?

— По тяжести, — сказала Анна тихо. — Живое держит. Мёртвое отпускает.

Она сама не знала, договорила ли про звёзды. Мира посмотрела на неё чуть дольше, чем требовал разговор о звёздах, и вернулась к своему бегущему созвездию, и пририсовала ему седьмую звезду — там, где у бегущего было бы сердце.

Сорокина открыла не сразу — сперва щёлкнул глазок, и за дверью долго молчали, и Анна успела разглядеть облупленную краску, и номер квартиры, привинченный вверх ногами, и собственную готовность развернуться и уйти, и то, как крепко она за эту готовность держится.

— Пятнадцать лет, — сказала Сорокина вместо приветствия, впуская. — Я думала, будет либо через год, либо никогда. А оно вон как обернулось. Ровно посередине.

Квартира была маленькая и вся состояла из бумаги. Распечатки стопками вдоль стен, на подоконнике, на выключенном навсегда телевизоре; папки, перетянутые аптечными резинками; коробки, надписанные годами. Пахло бумажной пылью и чем-то лекарственным, что въедается в жильё, где давно и в одиночку болеют. Сорокина стала меньше, суше; руки её, когда она сдвигала бумаги с табурета, освобождая гостье место, заметно дрожали, и она не пыталась это спрятать — прятать было уже некому и незачем. На груди, поверх домашней кофты, висел лэнъярд — институтский, с выцветшей фотографией на карточке, того самого института, который вычеркнул её из своих списков. Она носила его, как носят шрам: не напоказ и не пряча.

— Ты их видишь, — сказала Анна. Не вопрос.

— Я их вижу по телевизору и с трёх любительских форумов, потому что настоящих данных мне не дают уже пятнадцать лет, а любители — славные, у них энтузиазм вместо приборов. — Сорокина села напротив, сложила дрожащие ладони одна на другую, чтобы унять. — Но да. Вижу. Семь. Восьмая будет вот здесь. — Она назвала участок неба. Тот самый.

— Восемь, — сказала Анна. — Со вчерашнего вечера уже восемь.

Что-то прошло по лицу Сорокиной — не торжество. Анна ждала торжества и почти хотела его, чтобы было чем оправдать свой приход, чтобы вина нашла себе понятную форму. Не торжество. Усталость человека, которому наконец поверили — в тот самый час, когда верить уже поздно и незачем.

— Меня ведь не опровергли, — сказала Сорокина. — Это важно понимать, если ты пришла каяться. А ты пришла каяться, у тебя всё на лице написано, ты и в аспирантках не умела прятать. Меня не опровергли. Меня перестали цитировать. Это надёжнее опровержения. Опровержение можно оспорить, вокруг него живёт спор, а спор — это ещё жизнь. А молчание не оспоришь. Молчание просто закрывает воду.

— Я задала тот вопрос. Тогда, в зале. Это была я.

— Я помню, кто это был. — Сорокина посмотрела на неё прямо, без пощады и без злобы, как смотрят на факт погоды. — Ты задала хороший вопрос. В том и беда. Плохие вопросы забываются к вечеру. А твой был точный, и зал получил от него разрешение смеяться, потому что умные люди засмеялись — значит, можно. Ты дала им форму, в которую они уже сами хотели сложиться. Ты не толкала. Ты просто убрала стену, к которой они боялись прислониться. — Она качнула головой, отметая протянутую было Анной руку. — Оставь. Я звала тебя не за прощением, и ты пришла не за ним, хоть и думаешь, что за ним. Ты пришла, потому что у тебя восемь прямых линий и понимание, что если снимают по порядку — значит, у порядка есть расписание. А ты не знаешь, как его прочесть. Я знаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.